



ЛО
ЛА
МА
Г
Н
У
М

Барс

Грешный мент

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

МЕНТЫ БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ

18+

Лола Магнум

Грешный мент. Барс

«Автор»

2026

Магнум Л.

Грешный мент. Барс / Л. Магнум — «Автор», 2026

Двенадцать лет назад он уложил моего отца лицом в мрамор, а я плюнула ему в лицо. Мне было четырнадцать, и он сказал: «Утрись, принцесса». Теперь отец вернулся, а я вляпалась так, что меня не вытащат ни деньги, ни фамилия. И отец привёз меня к нему. К бывшему менту, которого выперли со службы за длинный язык, который живёт в гараже, берётся за любую грязь и пьёт так, что дохнут бродячие собаки. Нормы этикета, и даже элементарная вежливость и такт ему незнакомы. И он говорит, что он мне не телохранитель — он проблема, которая мешает меня убить. И я его ненавижу.

© Магнум Л., 2026

© Автор, 2026

Лола Магнум

Грешный мент. Барс

Глава 1

Двенадцать лет назад

Мрамор в холле был тёплый. Полы с подогревом, я это почувствовал через подошвы ещё в дверях, и почему-то именно на этом залип. Не на ёлке в два этажа. Не на лестнице, по которой можно было выкатить рояль. На тёплом полу. Блядь.

У меня в квартире тогда батарею перекрывали в апреле, и до октября я спал в свитере и в носках. И близок был к шапке гандоновке на уши.

— Чисто.

— Чисто.

— Второй этаж?

— Погоди, — сказал я.

Шесть утра, двадцать третье декабря. За окнами ещё темно, в холле горит только синяя гирлянда, моргает по кругу, медленно и красиво. Красиво, было бы, если бы не восемь мужиков в чёрном, которые стоят в этом синем и дышат паром, потому что дверь мы за собой прикрыть забыли.

Я потёр ладони, согревая их. Руки замёрзли, пока ждали во дворе.

Меня потряхивало мелкой рябью, но это были не нервы. Я это дело вёл два года и три месяца. За два года и три месяца нервы кончаются, остаётся только бухгалтерия: эпизоды, тома, свидетели, дожить бы до суда. Всем. Нас тоже инфаркты посещают.

Роман Аркадьевич Шатов вышел к нам сам.

Сверху, по лестнице, в халате и тапках, без охраны, потому что она уже лежала в предбаннике и очень старалась не шевелиться. Сорок шесть лет, седина на висках, лицо человека, которого только что оторвали от сна и которому это не то чтобы очень интересно.

Он остановился на последней ступеньке, осмотрел нас, прикинул количество, выдохнул тяжело и устало, и цокнул языком:

— Капитан, — сказал он мне.

Умный сучёныш. Не спросил, кто старший, а просто увидел.

— Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь?

— Понимаю. Работу.

— Нет, — он покачал головой почти сочувственно. — Работу ты вчера делал, а сейчас ты в мою жизнь заходишь. А из неё, Ирбисов, потом не выходят. Ногами. Из не потом выносят. Ногами вперёд.

О, какая неожиданность, он знал мою фамилию. Ну, разумеется, он знал мою фамилию. Говорю же, умный сучёныш.

— Роман Аркадьевич, руки.

— Да ради бога.

И он шагнул к столику у стены.

Там лежал телефон, отвечаю, блядь! Я потом сто раз это прокрутил, и там правда лежал только телефон. Но у меня за спиной стоял Пашка Гурин, у Пашки был первый выезд после госпиталя, и Пашка сделал ровно то, чему его учили.

Шатов просто пошёл лицом в мрамор.

И некрасиво так пошёл, скулой. Халат распахнулся, тапок улетел под ёлку, и вот тут вся его осанка закончилась, потому что в пятьдесят лет с прижатой к полу головой осанки не бывает ни у кого.

— Отставить, — скомандовал я. — Мягче.

— Да я мягко...

— Мягче, я сказал.

И тогда наверху с грохотом отлетела дверь, раздался топот босых ног и чей-то приглушённый и звонкий ох.

Она стояла на площадке второго этажа. Пижама с утками, босиком, спутанные волосы в одну сторону, щека помятая после подушки... Ребёнок, которого разбудили чужие голоса, спустился посмотреть, что за шум, и увидел, как её отца держат лицом в пол люди в чёрном.

Четырнадцать лет.

Я до сих пор помню, сколько ей было, потому что это было в деле. В деле у меня было всё: сколько ей лет, в какой школе, какой кружок, где мать. Бумажка. Строчка.

Строчка набрала побольше воздуха в грудь и заорала.

Я служил уже тогда шесть лет, я слышал, как орут в обезьяннике, в подъездах и в реанимации. Но чтобы так — не слышал ни разу. Она орала матом, длинно, с придыханиями, и такими взрослыми конструкциями, которые в четырнадцать знать не положено. И в этом ору не было ни капли страха. Только ненависть, чистая, прозрачная и обжигающая, как спирт.

Серёга поморщился и молча двинулся к лестнице.

— Не трогать, — сказал я.

— Так она ж...

— Не трогать.

Я пошёл наверх сам. Четыре ступеньки всего не дошёл — она стояла выше, и получилось, что мы оказались одного роста, на одном уровне.

Глаза в глаза. Она замолчала и вперилась в меня своими глазищами. Смотрела вдумчиво, внимательно, и я даже подумал, ну вот, дошло, сейчас заплачет.

Ога, прям шаз.

Она плюнула мне в лицо.

Точно. С близкого расстояния, промазать было невозможно, и она попала мне в скулу и в угол рта.

За спиной у меня кто-то хмыкнул, и я это запомнил, и потом полгода вспоминал, тихо матерясь.

Я не стал утираться сразу. Я постоял секунду, достал платок, у меня, идиота, был с собой чистый, мать его, платок, родительница положила, вытер лицо, сложил и убрал в карман. Не отводя глаз от мелкой нахалки.

— Утрись, принцесса, — сказал я ей.

— Что?! Это я тебе... Это я в тебя...

— Ты, — я кивнул. — Ты сейчас не на мать свою похожа, и не на девочку. Ты сейчас на него похожа. Вот и утрись, пока можно.

Она судорожно вдохнула, прищурила глаза, и через секунду ударила меня в грудь. Кулаками, обоими, как бьют в дверь, когда за ней кто-то не отвечает.

Я дал ей ударить. Раз. Два. Три.

На четвёртый поймал за запястья, тонкие, горячие и злые.

Внизу Шатова уже подняли и вели к выходу, прямо так, в халате, в одном тапке, руки за спиной. У порога он затормозил и обернулся.

— Ирбисов. Сколько?

— Двенадцать, — сказал я. — Если судья не в духе — четырнадцать.

Он кивнул, как будто цену услышал и счёл приемлемой, и спокойно, не оборачиваясь, через весь холл, сказал дочери:

— Лика. Двенадцать. Считай.

Дверь открылась пошире,пустила клуб холода и закрылась.

Девчонка в моих руках перестала дёргаться, она смотрела на дверь, и я видел, как у неё в голове что-то щёлкает, укладывается, встаёт на место — навсегда.

— Папа вернётся, когда тебе будет двадцать шесть, — сказал я. — Постарайся к этому времени быть кем-нибудь поприличнее.

Она перевела взгляд на меня. Без слёз, абсолютно сухие глаза, и в них — уже не ребёнок.

— Я тебя найду.

— Найдёшь, — согласился я. — Меня все находят.

Я отпустил её запястья и пошёл вниз по лестнице, и синяя гирлянда всё так же бежала по кругу, медленно, будто ей вообще ничего не сказали.

Я вышел на снег, закурил и забыл её к обеду.

Она меня — нет.